



**Н. Я. ГРОТ**

## **Нравственные идеалы нашего времени**

(Фридрих Ницше и Лев Толстой) (1893)

Для наблюдателя жизни наше время имеет особенное значение. Мы присутствуем при великой душевной драме, переживаемой не отдельными личностями или даже народами, а всем культурным человечеством. Дело идет, по-видимому, о коренном изменении миросозерцания, о полной переработке идеалов.

Бывали такие события и прежде, например в ту эпоху, когда на развалинах древнего мира воздвигался новый — христианский, или, например, три столетия тому назад, когда совершалось окончательное распадение средневековой культуры и созидался тот компромисс между идеалами христианского и языческого миросозерцания, который продолжается и поныне.

Но все-таки существует и громадная разница между тем, что происходило в те великие эпохи и в нашу. Прежде не было в распоряжении человечества тех средств взаимного общения, какие существуют теперь, и потому перевороты совершались медленно; падение старого и водворение и утверждение нового миросозерцания и порядка жизни требовало нескольких столетий. Так, около пяти столетий понадобилось для окончательного торжества христианства и полной победы его над языческой философией. Более двух столетий продолжалась так называемая эпоха возрождения искусств и наук, приведшая к падению средневекового строя жизни. Конечно, изобретение книгопечатания было в то время главным и существенным условием распространения новых учений, понятий и идеалов. Но каким бледным кажется в наш век это изобретение, в особенности в его первоначальной форме, сравнительно с поразительными открытиями и приобретениями техники в XIX в. Благодаря железным дорогам, пароходам, телеграфам и телефонам, а также журналам и газетам возникла, почти на наших глазах, новая сложная нервная систе-

ма в организме человечества. Человечество становится именно благодаря ей единым цельным организмом, все части которого поневоле принуждены функционировать согласно. И это согласие неизбежно будет возрастать с дальнейшим развитием общей нервной системы.

Первое последствие ее образования заключается в страшном ускорении пульса жизни человечества, в совершенном изменении условий времени и пространства. Теперь на расстоянии двадцати лет совершается столько событий, сколько могло прежде совершиться во сто лет, и еще раньше — в двести или триста. Смена явлений и впечатлений происходит так быстро, что в какие-нибудь десять-пятнадцать лет нынешний гражданин мира переживает целую историческую эпоху, как, например, господство Германии в Европе со времени окончания франко-прусской войны и до отставки Бисмарка<sup>1</sup>. И нельзя не видеть одного из проявлений мировой целесообразности в том факте, что именно в последнее столетие окончательно сложилась и окрепла *историческая наука*. Без нее теперь было бы трудно жить. Новая нервная система организма человечества требовала непременно и нового рода *памяти* — «организованной памяти человечества».

И вот в такое-то время, когда создались все элементы для новой жизни человечества как единого целого, мы присутствуем при новом, третьем в жизни Европы, крупном нравственном кризисе. На Западе наступление этого кризиса началось раньше и было отмечено еще Ог. Контom в его «Курсе положительной философии»<sup>2</sup>. У нас то же явление обнаружилось ярко только в последние тридцать лет, после падения крепостного права.

Если я осмелился взять на себя трудную, может быть непосильную и, во всяком случае, неблагоприятную, задачу оценки некоторых современных нравственных идеалов, то только потому, что этот вопрос у всех нас на очереди. Мы все ищем, все жаждем новых идеалов, мы все — более или менее — больны скептицизмом, все полны отвращения к существующему нравственному порядку, все чувствуем, что на свете совершается что-то неладное, странное, болезненное, не могущее быть долго терпимым. Каждый из нас так или иначе пытается выйти из круга сомнений, победить болезнь духа времени, преодолеть свое недоверие к жизни, свой пессимизм и отыскать или создать себе новый, добрый и прочный идеал существования. Отсюда такой огромный и быстрый успех в наше время всех новых учений о жизни. Но настоящего выхода еще не видно, и самые сильные умы в такие эпохи, как наша, теряются и запутываются в противоречиях. И

тогда поднимаются голоса, зовущие назад, к тому, чем жили прежде, злобно отвергающие право личности на «самочинное умствование», т. е., в сущности, отрицающие свободу духа, мышления и воли человеческой личности и мечтающие о военной дисциплине в области самого дорогого и лучшего, что отличает человека от животного, — в области жизни разума.

К счастью, эти голоса вопиют в пустыне, так как упомянутые новые условия общения людей создали и совершенно новую и неустранимую по личному произволу почву для нравственной жизни человечества.

То, что было прежде сокрыто от глаз толпы, становится благодаря телеграфу и печати открытым и явным. Малейшее, совсем не крупное событие, совершающееся сегодня не только с какою-нибудь заметною, но иногда и вовсе незаметною личностью, становится завтра известным всему миру. Вещи, дела, намерения, замыслы, о которых прежде узнавали неопределенно, по слухам и сплетням, через три-четыре недели, через месяцы или даже годы, становятся теперь доподлинно известными через несколько часов или суток. Грех, вина, преступление и даже проступок личности делаются рано или поздно общим достоянием. Жизнь личности становится все более и более насквозь прозрачной, особенно когда эта личность представляет какой-нибудь интерес. Правда, с тем вместе растут и множатся клевета, сенсационная ложь и мошенническая инсинуация. Но это только лишнее доказательство в пользу того положения, что для нравственной жизни человечества возникла новая почва.

Нравственная ответственность личности заметно возрастает, а с возрастанием нравственной ответственности все настоятельнее и настоятельнее становится реформа нравственных понятий и идеалов. Прежняя ложь жизни и лицемерная подделка нравственности становятся все труднее. Тайное так легко становится явным, обман так трудно становится скрыть, что каждая личность, совершая проступок, должна быть заранее готова во всякое время отдать в нем отчет всему человечеству.

Мы ужасаемся пред громадным разбоем, который совершался в последние годы во Франции. Но не должны ли мы, напротив, восторгаться перед тем, что столь ловко подстроенный грабеж так удачно раскрылся и что миллионеры, герои его, попали на скамью подсудимых? А со временем такие дела будут разоблачаться еще быстрее и полнее.

Таким образом, едва ли можно сомневаться, что открытия и изобретения XIX в. в области точного знания и техники сильно изменили почву, на которой складываются нравственные поня-

тия и идеалы общества. И самый важный результат, ныне достигнутый, заключается в том, что они показали совершенную нелепость и несообразность того легкомысленного компромисса между языческими и христианскими идеалами, который господствовал в последние три столетия, со времени эпохи возрождения классической культуры.

Все более и более в сознание выдающихся личностей, и даже самих масс, проникает убеждение, что так разрываться между двумя противоположными и несовместимыми началами жизни долее невозможно, что, по крайней мере в нравственной области, нужно быть или всецело язычником, или всецело христианином. Но вопрос, что избрать окончательно, нельзя решить так просто — сообразно личным симпатиям и влечениям каждого. Чем более возрастает связь и взаимная зависимость людей, тем необходимее становится для них единство миросозерцания. А для человечества как целого выбор между христианским и языческим миросозерцанием очень трудная задача. Ведь приобретения науки — той самой науки, которая имела источником древнюю образованность и возникла в главных своих основаниях на почве *язычества*, — так велики, наглядны, так очевидно идеальны, истинны и важны для самого нравственного прогресса человечества, что отбросить этот фундамент современной культуры мы не вправе и не в состоянии. Жертва была бы слишком громадна, и ради удержания силы и значения этого, все шире и шире развивающегося двигателя самосознания, быть может, стоит пожертвовать даже традиционной моралью? С другой стороны, однако, нравственное миросозерцание христианства так очевидно превосходит древнее языческое, так глубоко проникло некоторые стороны жизни современного человечества и принесло такие существенные плоды в реформе общих начал человеческих отношений, что отказаться от него было бы тоже самоубийством, и, может быть, лучше, наоборот, ради его полного и последовательного проведения отречься даже от всех плодов цивилизации?

Такова дилемма, глубоко волнующая современные умы. В области теоретической она выразилась целым рядом новых учений, которые растут в изобилии на почве современного скептицизма и пессимизма и преследуют в общем тройную задачу: 1) разрушение христианского религиозно-нравственного миросозерцания во имя окончательного торжества позитивно- и прогрессивно-научного, *языческого*, 2) разрушение прогрессивно-научного и языческого миросозерцания во имя окончательного торжества *христианских* начал жизни, 3) *примирение*, новыми путями и

на новой почве, того и другого. Последние, примирительные, попытки дали пока лишь весьма слабые и малоубедительные результаты. Но зато творческая работа в сфере одностороннего отрицания одних идеалов во имя окончательного торжества других, им противоположных, породила в последние десятилетия несколько крупных и чрезвычайно оригинальных явлений. Я намерен остановиться только на самых типических и сравнить крайние миросозерцания двух выдающихся современных мыслителей, из которых один изображает собою защитника чистого *языческого* миросозерцания и мечтает пером своим навсегда разделаться с религиозно-нравственными идеалами христианства. Это — *Фридрих Ницше*<sup>3</sup>. Другой ведет энергичную борьбу с миросозерцанием позитивно-научным и языческим во имя окончательной победы в жизни человечества высших нравственных идеалов христианства. Это — *Лев Толстой*.

Моею задачей будет, по мере умения и сил, собрать воедино главнейшие черты этих двух оригинальных учений, выяснить их происхождение, определить их достоинства и недостатки, показав при этом их одинаковую односторонность, хотя и *весьма различное* нравственное значение.

Подробное изложение учений Ницше и Толстого я считаю излишним. Талантливое и очень верное изображение нравственного учения Ницше недавно появилось на русском языке в известной статье г. Преображенского<sup>4</sup>, а нравственное учение графа Льва Толстого достаточно известно всем нам, хотя, думается мне, не многими правильно понято<sup>\*\*</sup>. Во всяком случае, моей задачей будет лишь *общая* их характеристика.

Замечу прежде всего, что между воззрениями обоих мыслителей не только существует резкая противоположность, но есть и много общих, сходных черт: «*les extrémités se touchent*».

Начну с указания общего.

Общим является, во-первых, одинаково решительный, талантливо выраженный и искренний протест обоих против современного нравственного миросозерцания общества, против всего *внутреннего* духа и строя жизни современного культурного человечества. «Так дольше нельзя жить, нельзя дольше терпеть все существующие и ставшие явными противоречия жизни: надо изменить всю жизнь, а для этого прежде всего необходимо пе-

\* См. «Вопр. филос<офии> и псих<ологии>», кн. 15 (ноябрь 1892 г.).

\*\* Правильное понимание его я вижу только в статьях Н. Н. Страхова<sup>5</sup> (см. «Вопр. филос<офии> и психол<огии>», кн. 9 и 11).

решить все ныне господствующие понятия о жизни, ее значении и целях».

Общим является, во-вторых, не менее сильный и красноречивый протест обоих против вековой традиционной *внешней* организации христианского общества, в которой часто лицемерно прикрыты, под маской лживой добродетели и законности, всевозможные язвы порока и разложения. Отсюда — борьба обоих против Церкви и государства как предполагаемых виновников указанной лжи.

Несомненно общими являются, в-третьих, и некоторые *положительные* стремления обоих мыслителей — дать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу, освободить личность от гнета различных условностей в нравах и понятиях, поднять ее самочувствие и самосознание, изменить и по-новому обосновать ее нравственную жизнь, — создать, словом сказать, новую, более свободную и самодовлеющую личность и на этой почве новое общество и человечество.

Вообще, характерною чертой обоих мыслителей является одинаково решительный *индивидуализм*, стремление освободить личность от стесняющих ее духовное развитие оков и цепей. Но на этом сходство и кончается.

При решении поставленной задачи в подробностях пути обоих моралистов резко расходятся.

Ницше видит все зло в зависимости личности от нравственных цепей, наложенных на нее религиозно-нравственным мирозерцанием христианства. Подобно тому как в прошлые века (Ницше разумеет, конечно, события в Западной Европе) христианство постепенно разложилось как «догматическое» учение под влиянием своей морали, так теперь оно должно погибнуть и как мораль, и «мы уже стоим на пороге этого события» \*. Зло — во внутренних оковах, связывающих личность, в связанности ее *совести* учениями о грехопадении, сострадании, любви. Так называемое зло, преступление, эгоизм — законные и необходимые проявления силы и могущества личности; чтобы личность могла смело и полно проявить все свои силы, надо освободить все эгоистические деяния ее от связанной с ними «нечистой совести»; человек перестанет быть злым, когда перестанет считать себя таковым. Весь источник силы личности — в страсти; нужно признать право страсти господствовать в жизни, и тогда личность сумеет проявить все свои скрытые энергии. Другими словами, нужно освободить личность от «нравственной ответственности»

\* Genealogie der Moral. Leipzig, 1892. S. 180.

в христианском значении этого слова. А нужно это потому, что единственный смысл жизни человечества может лежать только в возможно полном расцвете личности, в улучшении типа человека, породы людей-животных, до достижения ими нового, усовершенствованного, вида — «сверхчеловека». Так как, однако, не все люди по организации доступны такому усовершенствованию, то надо признать полную свободу только для высших, лучших личностей и сделать массы пассивным орудием и пьедесталом для возвеличения этих личностей. Ницше — решительный враг политической и общественной равноправности и социалистического нивелирования общества, ибо все *эти* условия современной жизни (опять, заметим, на Западе) ведут к понижению человеческого типа до степени трусливого, боязливого и безличного стадного животного.

Совершенно очевидно из этих главных черт учения Ницше, что он мечтает о возвращении к началам и принципам *языческой* культуры<sup>6</sup>. И действительно, все его духовные идеалы — в древнем мире, в миросозерцании языческих философов, ничего не знавших о христианском смирении, терпении, сострадании и любви, и поэтому он поклоняется только *тем* позднейшим эпохам в жизни человечества, когда отдельная личность достигала наибольшего блеска и расцвета внешнего могущества, власти и индивидуальных способностей. Так, он с энтузиазмом говорит об эпохе возрождения классической образованности и идеалов классического мира на рубеже средневековой и новой культуры, когда так могущественна была реакция против христианской морали, так свободны стали на время разврат и всяческое насилие, так пышно расцвела оргия всевозможных пороков и преступлений. Конечно, Ницше поклоняется не порокам и преступлениям, не разврату и насилиям, а параллельному расцвету гениальности и творчества, не стесненной никакими нравственными предрассудками и нормами деятельности личности; но он считает все указанные отрицательные явления неизбежной и неустранимой обратной стороной медали. Учение Ницше можно философски формулировать таким положением: «Чем больше зла, тем больше и добра», ибо зло — необходимый темный фон картины полного умственного торжества, освобожденной от всяких нравственных стеснений личности.

Совершенно иначе смотрит на причины зла и на смысл предстоящей реформы гр. Л. Толстой. Зло не во внутренних, нравственных нормах деятельности личности, а в отступлении от нравственного закона, в его непонимании и игнорировании, а следовательно, и во всем, что ему противоречит, т. е. во внешних

цепях социальной организации, не только не связанных с нравственным мирозерцанием христианства, а, напротив, по мнению Толстого, глубоко ему противоречащих и представляющих собою все признаки недостаточного отречения человечества от языческого строя жизни. Не только не следует желать уничтожения нравственного мирозерцания христианства, но в нем одном только и залог настоящего духовного развития личности, а следовательно, и общества. Толстой, так же как и Ницше, думает, что цели и смысла жизни следует искать не в трансцендентной задаче искупления души от греха, а прежде всего в лучшем устройстве *здесь* духовной жизни человечества. Но путь к этому не в освобождении совести личности от всяких нравственных оков, а, напротив, в возможно полном и глубоком развитии *христианской* совести, — не в расцвете эгоизма, а, наоборот, в полном и окончательном подавлении его — в проявлении способностей самоотречения, любви и сострадания к ближнему, в возрастании личного смирения, терпения и непротивления злу (злом). Не об усовершенствовании типа человека-животного идет речь, а о развитии человеком всех своих высших *человеческих* наклонностей и скрытых сил, — не о расцвете творчества и гениальности, блеска способностей и гордого самовластия должен мечтать человек, а *только* о нравственном самоусовершенствовании и о возвращении поэту в лоно смиренной, терпеливой и стойкой толпы себе подобных, в которой гораздо полнее, чем в нас — цвете и красе человечества, — сохранились истинно добрые и великие чувства и стремления. В противоположность Ницше, Толстой — ревностный проповедник добровольной равноправности и полного социального нивелирования личностей. Его идеал — именно идеал человека как мирного, домашнего, но не «стадного животного», а духовного существа, — не трусливого и боязливого, а нравственно непоколебимого и внутренне стойкого. Поэтому симпатии Толстого сосредоточены на тех эпохах и явлениях жизни человечества, в которых больше всего проявлялись смирение и терпение пред внешними невзгодами жизни, добровольное подчинение *нравственному* закону, свободное мученичество за правду и скрытый героизм самоотречения, но под одним условием, чтобы дело, которому служила личность, было вполне христианское, чтобы личность исполняла дело Христово — дело любви и добра. Формула Толстого: «Чем меньше зла, тем больше добра».

При такой крайней противоположности нравственных *идеалов* Ницше и гр. Толстого, они, естественно, совершенно различно смотрят на пороки и добродетели личности. Это разли-



чие особенно ярко выражается во взглядах на христианский *аскетизм*.

Ницше в обширной и остроумно написанной главе «Was bedeuten asketische Ideale», в одном из последних своих сочинений «Genealogie der Moral», употребляет весь блеск своей аргументации, всю силу своего злого языка, чтобы несправедливо дискредитировать нравственный смысл аскетизма и свести то немногое, по его мнению, здоровое, что можно найти в теориях воздержания, к простой *гигиене и диететике* организма. Он смеется над христианскою церковною борьбою против чувственности во имя целомудрия и воздержания, он считает заслугою Лютера то, что тот имел смелость открыто исповедовать свою чувственность (Luthers Verdienst ist vielleicht in Nichts grösser als gerade darin, den Mith zu seiner *Sinnlichkeit* gehabt zu haben; S. 99)<sup>7</sup>. Проповедь целомудрия исходит, по его циническому замечанию, от «verunglückten Schweine». Фейербаховское<sup>8</sup> слово о «здоровой чувственности» он считает словом искупления от болезненного обскурантизма христианской морали. «Парсифаль» Вагнера<sup>9</sup> для него признак вырождения таланта великого композитора, его чрезмерного подчинения Шопенгауэру. Правда, всякое животное, а потому и *la bête philosophe*, инстинктивно стремится к лучшим и самым благоприятным условиям для проявления своих сил, и к этим условиям относится известное воздержание от чувственности ради приобретения большей свободы и независимости. Женатый философ «gehört in die Komödie»<sup>10</sup>, и «Сократ, вероятно, женился (и имел детей?) только ради иронии». Но никакого другого смысла, как только служить одним из средств личной независимости, аскетизм не имеет, и свобода нравов есть для Ницше все-таки необходимое условие и этой самой независимости как средство для полного самоурегулирования личности на пути к достижению полнейшего расцвета сил, т. е. высшей гениальности. Поэтому он допускает только «веселый аскетизм» (*heiterer Asketismus*) божественного и оперившегося животного, «которое более парит над жизнью, чем покоится в ней» (S. 112). Но проповедь аскетизма как пути к духовному совершенству, как средства избавиться от вины, греха и страданий Ницше клеймит презрением. Аскетизм христианский был временным и случайным идеалом, случайным способом решения проблемы — «ради чего страдать». Это был идеал «*faute de mieux*»<sup>11</sup>. «Воля к жизни» была временно спасена этим решением вопроса, ибо человек лучше готов стремиться к своего рода «ничто», чем не стремиться ни к чему (S. 181–182). Но теперь пора стряхнуть с себя нелепое ярмо.

Совершенно иначе смотрит на воздержание, самообуздание и самоотречение Толстой. Правда, и ему чужд средневековый идеал монашества и добровольного удаления от жизни в пустыню и одиночество, но вместе с тем Толстой видит в воздержании от чувственности, от всяческого сладострастия и животности — первую задачу духовной человеческой личности. Мы знаем, как энергично, всеми писаниями своими, начиная от «Анны Карениной» и кончая «Крейцеровою сонатой» и «Послесловием», он проповедует целомудрие, как красноречиво в «Первой ступени» он восстает против мясоедения, а в «Плодах просвещения» — против обжорства, какой он враг вина, табака и всяких наркотических средств, как глубоко запала в его душу мысль о необходимости упрощения жизни и отречения от всякой роскоши, излишеств и ложных потребностей.

Прежде чем перейти к критике обоих мирозерцаний, которые все-таки оба односторонни и не удовлетворяют всех запросов человеческой души, я сделаю их окончательное сопоставление.

Ницше — представитель западноевропейской изломанности, Толстой — носитель идеалов восточноевропейской непосредственности. Ницше мечтает о восстановлении во всех правах древнеязыческого культурного идеала, соединенного с полным и сознательным отречением от христианства. Толстой, наоборот, ищет очищенного от всяких языческих примесей христианского идеала жизни и в своей ненависти к язычеству отвергает и науку, и искусство, и государственные формы, созданные древнею дохристианскою культурою. И Ницше и Толстой — рационалисты, ищущие в разуме последнего критерия истины. Но Ницше — *эстетик* рационализма, Толстой — *моралист* с рационалистическою подкладкой. Над чудом и таинством оба смеются, но один — во имя таинства обаяния красоты, т. е. внешнего совершенства формы, другой — во имя чуда абсолютного торжества любви и добра. Оба мыслителя провозглашают своим девизом безусловную свободу и самостоятельность личности, но Ницше мечтает о торжестве отдельной, исключительной личности на почве порабощения и организованного эксплуатирования масс, — Толстой — о самостоятельности и высшем достоинстве всякой личности путем уничтожения взаимной или коллективной эксплуатации. Ницше мечтает о торжестве человека-животного в осуществленном путем ловкого *насилия* над массами идеале «сверхчеловека». Толстой более скромно помышляет только о полном воплощении идеала «человека» путем его собственного свободного отречения от *всякого насилия* над чужою личностью.

Ницше — анархист-революционер и, как всякий революционер, догматик деспотизма. Толстой — самый решительный враг анархии, революции и деспотизма, так как даже не верит в их возможность, если только будет обеспечена полная нравственная свобода и ответственность личности. Ницше, хотя и враг современной культуры, но только потому, что она ему кажется недостаточно радикальною: борьба за существование недостаточно откровенна, произвол недостаточно обеспечен от преследования. Любовь, милосердие, симпатия, сострадание — тормозы прогресса. Уничтожьте законы нравственности и всякую ответственность, чтобы личность могла достигнуть полного развития своей стихийной мощи. Уничтожьте законы (конечно, не внутренние, нравственные, которые нельзя уничтожить, а внешние, социальные), говорит и Толстой, но говорит так только потому, что эти законы, по его мнению, совершенно лишнее стеснение человеческой личности, тормоз ее высшему духовному развитию, полному торжеству среди людей любви, милосердия, сострадания. И Толстой — враг современной культуры, но потому, что она кажется ему в корне ошибочной, нехристианской: личность недостаточно свободна; всякая борьба за существование исчезнет, если личность будет *совсем* свободна и поймет «волю Пославшего ее в мир». Все высшие силы личности проявятся лишь тогда, когда она сама добровольно отречется от всякой мощи и силы, от всякого законного насилия.

Не ясно ли, что коренное различие обоих мыслителей всецело сводится к одному: к противоположному взгляду их на человеческую природу. Ницше считает человека животным — злым, злейшим из животных — и думает, что, пожрав некоторое количество своих ближних и высосав соки из десятков и сотен себе подобных, более сильный человек-животное, в своей ничем не сдерживаемой роскошной упитанности, превзойдет самого себя и станет в ряды новой породы усовершенствованных животных, которая обозначается им посредством понятия «сверхчеловек». Толстой думает иначе: смирение и терпение, самоотречение и любовь — коренные свойства человека как человека. Человек именно этими свойствами отличается от животного. Его природа добрая, хорошая. Не озлобляйте его, и он совсем будет добр. Дозвольте ему быть самим собою, и он никого не тронет, никого не пожрет; в естественных условиях жизни он станет «настоящим человеком», носителем божеских чувств и помыслов. Не нужно сверхчеловека, ибо человек уже есть сверхживотное; образ и подобие Бога.

Совершенно ясно, что противоположность нравственных мирозерцаний обоих моралистов, может быть бессознательно для них самих, имеет основанием противоположность их *теоретических* воззрений на природу мира и человека.

Ницше — материалист, атеист и эволюционист довольно фантастического склада. Он мечтает о трансформации «человека-животного» в новый вид животного, подменявая эту перспективой идею нравственного, духовного самоусовершенствования. С особенною любовью, и даже с каким-то странным наслаждением, Ницше пользуется всяким случаем, чтобы соединять термины Thier и Mensch. «Diese englische Psychologen» (сами английские психологи!) признаются им за «tapfere, grossmüthige und stolze Thiere» (Genealogie der Moral. S. 2). «Der Priester ist die erste Form des *delicateren* Thiers», — говорит он в другом месте (Ibid. S. 136). О современном человеке он выражается, что он «ein krankhaftes Thier» (болезненное животное), а о человеке вообще, что он «das tapferste und leidgewohnteste Thier» (самое храброе и к страданиям привычное животное). Трудно перечислить все сочетания, в которых Ницше употребляет оба понятия. Говоря о субъекте человека, Ницше говорит, что совершенно подобно тому, как народ различает молнию как субъект от ее свечения как действия, так и народная мораль отделяет субстрат сильного человека, свободного проявить или не проявить свою силу, от самих этих проявлений. «Но такого субстрата нет, нет бытия вне деятельности, вне действия, становления: деятель присочинен к действию, действие есть все» (Ibid. S. 27). В существование субъекта как субстрата, т. е. как субстанциальной души, Ницше не верит. «Субъект, — говорит он, — или говоря популярнее — *душа*, может быть, потому был до сих пор лучшим предметом верования на земле, что он давал возможность излишку людей — слабым и приниженным всякого рода — исповедовать тот возвышающий самообман, что слабость есть тоже свобода, что то или другое существование есть *заслуга*» (Ibid. S. 28). «Говорят о любви к врагам — и потеют при этом (und schwitzt dabei)». — Таким образом, существования души Ницше не признает. Точно так же не верит он и в Бога.

«Там, где дух (как мысль, сознание) в наше время работает строго, могущественно и без подделок, — говорит Ницше, — он обходится вообще и без идеала, — и популярное выражение для этого воздержания есть *атеизм* (куда не входит воля к правде)». «Безусловный, честный атеизм, — а его атмосферою мы только и дышим все, (?) более интеллигентные люди нынешнего столетия, — не стоит, однако, в противоречии со всяким идеалом, как

может казаться; он есть, наоборот, одна из последних фаз его развития, одна из последних форм его выражения и внутренних его следствий, — он есть лишь конечная *катастрофа* двухтысячелетнего приплота истины, которая в конце концов запрещает нам *ложь веры в Бога*» (Ibid. S. 179).

Достаточно этих ссылок, чтобы видеть, в какой степени Ницше материалист и атеист. Душа и Бог — суеверия. И этим объясняется скачок Ницше от человека-животного к сверхчеловеку, — минуя стадию «человека» в истинном смысле этого слова. Неудивительно, что этот последовательный материалист, атеист и эволюционист на почве морали повторяет уже без всякого скептицизма и ложного стыда знаменитую мысль Ивана Карамазова, так блистательно оправданную Смердяковым, что если кто не верит в Бога и в бессмертие души, тому «все позволено».

Совершенно другое теоретическое миросозерцание исповедует Лев Толстой. Кому знаком сочинение Толстого «О жизни» (см. XIII т. «Полного собрания»), тот знает, какая глубокая пропасть лежит для него между животным и разумным сознанием, между зверем и человеком, — какие страстные усилия он делает для оправдания бессмертия души и идеи вечной жизни, как, сбиваясь иногда с идеи личного бессмертия «души» на идею безличного бессмертия «духа», он тем не менее настойчиво отстаивает мысль о вечности духовной жизни, о невозможности полной смерти. Верит ли Толстой в живого Бога? Да, верит, глубоко верит. Он верит даже в молитву и в таинственное посредство вечного существа между душами людей живущих. Толстой верит в волю Пославшего нас — в мир вечной правды и абсолютного добра. Но зато Толстой не верит во внешний, материальный, технический прогресс. Он проповедует возвращение к «человеку», а не изобретение крылатого и оперенного «сверхчеловека». «Царствие Божие внутри вас есть». Оно уже дано всецело в великих потенциях человеческой души, оно уже не раз проявлялось и ярко светило в назидание всем смертным. Все развитие и эволюция сводятся к росту духовной, нравственной личности человека. Для этого нужно возвратиться к чистому учению Евангелия. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Мир душевный, отречение от всяческой суеты, а не внешний прогресс организации личности и общества, — вот истинная цель человека, его счастье, источник его нравственного удовлетворения.

Несмотря на всю ненависть и отвращение Ницше к современной промышленной и буржуазной цивилизации, в учении его все-таки чудится эхо непрерывного стука и грохота машин огромной западноевропейской или американской фабрики, бесчисленных

поршней и молотов, придуманных человеком, но, в свою очередь, покоривших его и ему импонирующих. Все эти машины, все это производство ставят себе конечным идеалом механико-химико-физику-анатомио-физиологическое изготовление живого животного существа — летающего и окрыленного сверхчеловека, органически производящего новые великие идеи посредством усовершенствованных мозговых полушарий и извилин... В учении Толстого слышится, напротив, отзвук тихих, пространных, малообработанных степных пространств нашей родины — бесконечных меланхолических черноземных полей, — спокойного и сосредоточенного уединения деревни, в которой так живо чувствуется «власть земли» и «свобода здорового и могучего в своем уединении духа». Оставьте его в покое, предоставьте его самому себе — и он будет велик без всяких машин, летательных снарядов, фабрик и мануфактур, без химии, медицины и гистологии.

Человек — *выдрессированный зверь*, и человек — *полнота воплощения божественного разума на земле* — таковы противоположные принципы и идеалы обоих мыслителей.

Само собою разумеется, что нравственные учения Толстого и Ницше отражают на себе все достоинства и недостатки тех теоретических миросозерцаний, которые они исповедуют.

Главная заслуга обоих заключается в том, что они доводят свои теоретические воззрения до конца.

Если в мире нет ничего, кроме вещества и его комбинаций, если человек — машина, если все действия человека — продукты сложного механизма, то никакие из этих действий сами по себе не достойны ни похвалы, ни порицания, не добры и не злы. Все — относительно<sup>12</sup>, оценка зависит от конечной цели, которую мы поставим действиям человека. То, что содействует ее достижению, будет добром, что препятствует — злом. Но общей цели у всех людей не может быть и потому нет единого добра и зла — цель выработки сверхчеловека есть субъективная мечта Ницше, которую он никому не навязывает и предлагает лишь к усмотрению. Другими словами, никакой абсолютной и обязательной нравственности нет, а следовательно, нет и *никакой* нравственности. Это — пустая выдумка и учение некоторых людей. Люди — звери, единственная основа их жизни — борьба за существование, за власть и силу. Пускай же эта борьба, не на жизнь, а на смерть, будет *откровенно* возведена в единственный закон жизни.

Точно так же последователен в своем учении и гр. Толстой. Если человек — разум и дух, то истинный закон его жизни есть внутренний закон, *нравственный закон*. Если он не зверь, то принцип его жизни — не борьба за существование, а любовь. Надо

искренно и честно признать закон любви единственным возможным законом жизни человеческой.

При крайнем, последовательном развитии этих положений мы находим у обоих мыслителей новые, своеобразные и глубокие обобщения, но вместе с тем и не менее важные заблуждения.

Таково, например, блестяще проведенное Ницше утверждение, что аскетизм есть не отрицание жизни (как это думал Шопенгауэр), но одно из сильнейших утверждений ее и одно из лучших лекарств против вырождения, болезненной расслабленности и упадка жизненности (*Geneal. d. Moral*, 3-te Abt., § 8–10, особ. 13 и след.). Напрасно только Ницше думает, что это средство не может быть употреблено ранее, чем наступило вырождение, для предупреждения всяких болезней духа. Если бы он это признал, то приблизился бы к точке зрения христианской аскетической морали — морали греха и искупления. Точно так же превосходна у Ницше критика изнеженного и расслабленного альтруизма и сострадания наших дней. Но едва ли Ницше вполне правильно понимает христианское сострадание, если утверждает, что *всякая* любовь и сострадание расслабляют, что в христианском обществе все люди делятся на «больных» и «сиделок». Мужественное христианское сострадание внушает силу и мужество тому, кто является его предметом. Если Лев Толстой, любя ближнего, жалеет, что он курит и пьет вино и этим ослабляет энергию своей мысли и воли, то ближний должен быть признателен ему за эту жалость; ему станет стыдно своих слабостей и он бросит курить и пить и станет нравственно сильнее. Точно так же глубоко верна мысль Ницше, что усовершенствование человека, переход его в высшую стадию развития<sup>13</sup>, есть высокая нравственная задача человечества, есть конечный идеал прогресса. Но напрасно Ницше думает, что это усовершенствование может быть только животным и что необходимое условие его — заглушение совести и любви к ближнему. Усовершенствование может быть только нравственным, духовным, — только подъем нравственных сил ведет к подъему умственных и физических энергий, а нравственная распущенность — источник не гениальности, а именно полного интеллектуального и физического вырождения.

Из этих трех примеров ясно видно, что в учении Ницше много глубоких мыслей; но странно: этот писатель отражает в своем уме истину вещей, как кривое зеркало. Физиогномия всех явлений действительности оказывается в этом зеркале грубо перекошенной, так что все общие положения Ницше, заключая в себе некоторый элемент правды, представляют в конце концов только

остроумные и совершенно неверные парадоксы. Сам Ницше окрывается «самым больным» из всех людей в изобретенном им всемирном госпитале и сумасшедшем доме \*, и когда он говорит про современных ему мыслителей: «Das sind alles Menschen des Ressentiment, diese physiologisch verunglückten und wurmstichigen, ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Rache, unerschöpflich, unersättlich in Ausbrüchen gegen die Glücklichen und ebenso in Maskeraden der Rache, in Vorwänden zur Rache (S. 133), то так и хочется сказать: это ты сам, Ницше, более всех других — «человек оскорбленного самолюбия, физиологический неудачник, человек ненависти и мщениа». В лице Ницше, в свою очередь, мстит за себя человечеству попранная последним истина христианской любви и смирения. Тем не менее Ницше глубоко жаль (по-христиански). Он пережил одну из самых тяжелых трагедий — нравственную трагедию неверия и отрицания — и имел смелость искренно исповедовать пред человечеством все передуманное и выстраданное.

Совершенно другое впечатление производит учение Льва Толстого. Это не болезненный продукт извращенной цивилизации, а здоровая реакция против всех болезней современного духа. Насколько учение Ницше — в нравственном смысле — величина *безусловно-отрицательная*, настолько мораль Толстого как мораль проникнута *положительными* идеалами — идеалами будущего.

Ошибки Толстого лежат не в области *морали*. Мало людей (среди светских писателей), которые бы так возвышенно и идеально поняли и истолковали *нравственное* учение Христа, — и эта истина, кажется, достаточно нами установлена. Мы не будем поэтому больше говорить о положительных сторонах нравственного учения Толстого. Во имя правды и справедливости надо указать и на некоторые невольные заблуждения этого мыслителя.

Подобно тому как главный корень всех заблуждений Ницше — в смело проведенном до конца материализме, так главная ошибка Толстого — в чрезмерном и узком идеализме и спиритуализме. Критика не раз совершенно справедливо указывала, что Толстой, принимая всецело мораль христианства, ошибочно отвергает всю

---

\* Genealogie der Moral. S. 131: «Кто имеет не только нос для обоняния, но и глаза и уши, тот чувствует везде, куда он сегодня вступает, нечто вроде сумасшедшего дома, что-то напоминающее больничный воздух, — я говорю, конечно, обо всех областях культуры человека, о всякого рода “Европе”, которая только существует на земле» (вспомним Н. Я. Данилевского!)<sup>14</sup>.



его метафизику \*. По нашему мнению, главная ошибка гр. Толстого, как и Ницше, в отрицании глубокого *дуализма* человеческой природы, составляющего основу всей христианской метафизики. Правда, в сочинении «О жизни» Л. Н. Толстой признает противоположность животного и разумного сознания, но эта противоположность имеет для него все-таки цену феноменальную, а не субстанциальную. Признав разумность и духовность человеческого существа, Толстой очень скоро забывает постоянное присутствие в нем и другой, животной, материальной природы. Поэтому-то наш писатель так склонен верить в абсолютную доброкачественность человеческой природы и в возможность для человека стать совершенным и благим независимо от всяких внешних норм деятельности. Учение Церкви о грехопадении и искуплении чуждо Толстому. Он и не задается вопросом, нельзя ли открыть в этом учении глубокого *философского* смысла, помимо религиозно-догматического. Он прямо его отвергает как отживший предрассудок или, точнее говоря, его обходит — считает его совершенно бесполезным для обоснования христианской морали. Поэтому в теоретическом отношении христианская мораль Толстого все-таки висит в воздухе; это чисто эмпирическое, на опыте личной жизни основанное учение, лишенное твердых метафизических основ. Ведь, для того чтобы твердо (объективно) обосновать его, надо доказать, что любовь есть заповедь Высшего Существа и залог духовного *спасения* человечества, но спасения *от чего?* от греха, падения и смерти. Спасения *чем?* страданием и безвинными жертвами, составляющими искупление от греха. Спасения *для чего?* для воскресения и личной жизни. Догматическое учение Церкви есть, таким образом, глубокое и необходимое философское обоснование христианской морали любви и самоотречения.

Стоит только допустить противоположность духа и материи в мире и существование Бога как живого личного источника всякой духовности, чтобы, не отвергая никаких открытий науки и даже естествознания (не исключая теорий эволюции и трансформации), прийти к возможности научного и философского обоснования метафизики христианства, учений о грехопадении и искуплении.

Но в таком случае настоятельно возникает вопрос: есть ли надобность отрицать всю догматику христианства тому, кто, подоб-

---

\* См., между прочим, статью А. Волынского<sup>15</sup> «Нравств<енная> философия гр. Л. Толстого» (Вопр. филос<офии> и псих<ологии>, кн. 5, ноябрь 1890) и статьи А. А. Козлова «Письма о книге гр. Л. Н. Толстого и о жизни» (Вопр. филос<офии>, кн. 5–8).

но Толстому, принимает всецело его нравственное учение и придает авторитету Христа все-таки некоторый высший мистический смысл в истории нравственного сознания человечества?

Впрочем, Толстой отвергает не только догматику христианства, но и всякое научное и философское умствование о судьбах и природе мира. И в этом он лишь совершенно последовательно проводит свою основную посылку о том, что человек есть всецело разум практический, что все это знание — самосознание и самопознание. Невольно вспоминается образ Сократа и замечание Аристотеля<sup>16</sup>, что «Сократ занимался только нравственными понятиями, а о всей природе ничего не говорил, причем искал вообще именно в этих понятиях».

Гр. Толстой в своем роде тоже продукт современного скептицизма и даже пессимизма, но только в чисто теоретической области. Он не верит в возможность познания истины бытия, законов мира, природы, Бога. Но зато он глубоко верит в возможность познания истины жизни, как она открывается человеку изнутри — в его самосознании. Не веря в возможность уразумения законов бытия внешнего мира и будучи убежден в бесполезности и даже зловерности таких попыток выхождения человеческого духа из себя — для полного его самопознания и нравственного усовершенствования, — он отвергает всякую догматику, и религиозную, и научную, и философскую. Все это не нужно, искусственно, нелепо, как и всякое *внешнее* усовершенствование жизни, изощрение ее, развитие внешней впечатлительности, тонкостей эстетического и интеллектуального творчества. Жизнь познать очень легко *в себе и из себя*, и для жизни *больше ничего не нужно*.

Вся внешняя цивилизация, весь внешний прогресс, все измышления науки и искусства — все это язычество, разврат, отвлечение от главной задачи — доброй жизни. И как тонко умеет Толстой, в своей непримиримой вражде к внешней организации жизни, изобличать все язвы и прорехи современной цивилизации — безнравственные поползновения искусства, ошибки и рутину в области науки, недостатки и бесполезные архаизмы в сфере религиозного существования. Никакая слабость, никакое противоречие не ускользают от его пронизательного взгляда, и посредством метких художественных образов — подчас весело и добродушно осмеиваются, а иногда зло и беспощадно отдаются на всеобщий позор самые великие и прочные традиции человеческого бытия.

Но сколько бы ни трудился Толстой над разрушением внешней организации жизни человеческого общества, — искусство,

наука, религия и государственность вечно пребудут, пока существует человек, и будут изменять только *формы* свои. Формы — внешнее воплощение идеи, но эти формы так же необходимы и неустранимы, как и сам мир, сама природа, как минералы, растения, животные и человек — воплощения в формах Божественных идей. Красота, истина и добро — идеалы равноправные. Художественные произведения — такое же важное воплощение чувства красоты и правды жизни, как научные понятия и термины — «научный волапюк» — необходимое воплощение истины, как религиозные обряды и формы — воплощение религиозного сознания человечества — чувств смирения, почтения и любви к Богу, свойственных человеку. И точно так же необходимо закрепление внешней общественной деятельности в формах государственной организации.

Истинная задача моралиста — не разрушать все исторические формы духовного бытия человечества, а стараться влить в них новое содержание, поставить каждую на свое место, а где нужно, — показать недостатки одних и преимущества других. Вернуться назад — к первобытному и первоначальному — человечество не в состоянии. Отречься от того, что создано, было бы для него самоубийством.

Нище впадает в явные преувеличения, когда проповедует свой «*Pathos der Distanz*»<sup>17</sup> — чувство расстояния или, говоря проще, чувство перспективы в социальной и политической организации жизни человечества. Относительно *социальных* теорий гр. Л. Н. Толстого можно сказать, что в них недостает именно этого чувства перспективы. Проповедуя самые симпатичные нравственные идеалы, он пытается оторвать личность от всей той почвы, на которой она выросла, от почвы ее религиозных, научных, философских и общественных традиций. Бесплезная задача, — и, конечно, очень недальновидны те, кто видит в этих попытках «вырывания с корнем» какую-либо серьезную опасность для почвы. Растение, т. е. отдельная, оторванная от почвы личность, может пострадать — другими словами, утратить ясное сознание того, что ей должно делать и как жить среди отвергнутой ею общественной организации; но почва, несомненно, уцелеет, ибо она, конечно, прочнее всех растений, которые производит.

---

Мы показали достоинства, недостатки и общее значение двух крайних нравственных мирозерцаний нашего времени. Где же

*настоящий нравственный идеал?* Очевидно, мы должны искать его все-таки в примирении внешнего и внутреннего, материального и духовного, — скажем смелее: «языческого» и «христианского». Если созданный три века тому назад компромисс науки и религии, знания и веры, оказался несостоятельным, то значит ли это, что невозможен другой, лучший, — что невозможен синтез более широкий, органический и полный?

Мы твердо верим, что он будет найден. Но кто же его найдет, на чьей обязанности найти его?

Дело идет, конечно, не о том, чтоб указать *личность*, которая найдет выход из современных противоречий. Личность — орудие и проявление общих мировых сил. Вопрос в том, *каким методом, в какой области* вопрос может быть разрешен? Эти метод и область давно известны *философу*. Крайности этических мирозерцаний нашего времени ставят новую задачу перед *философией* как той примиряющей наукою наук, которая пересматривает и проверяет фундамент всякого знания, обобщения, синтеза.

Задача философии нашего времени — понять все великие уроки ближайшего времени, понять Толстого и Ницше и многих других выразителей современного неустойчивого и колеблющегося нравственного сознания человечества и, усвоив истинное и доброе в их учениях, переработать все это в новое, цельное мирозерцание, теоретическое и практическое. Мы живем уже целое столетие традициями кантовской философии<sup>18</sup>, механически примиренным противоречием его теоретического и практического разума. Фр. Ницше — бессознательный протест критики теоретического разума против критики практического, Толстой — не менее бессознательный протест критики практического разума против критики (чистого) теоретического. Таково значение этих мыслителей «*sub specie aeternitatis*». Это — старая, вечно старая, возобновленная в нашем веке борьба демокритовского и сократовского учения, Аристотеля и Платона, реализма и идеализма. «*Das ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu*», — ибо формы жизни изменяются.

Глубоким чувством перспективы должен обладать мыслитель, который всему этому старому укажет новое место и вновь примирит усовершенствованное самопознание с переработанным пониманием законов вещей.

